

Немецкие истории: риторика репрессированного народа (на материале локальной истории кулундинско-немецких сообществ)

Анриан Охотников
ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ СО РАН

Интерес к теме локальной истории возник в отечественном гуманитарном знании в 1990-е годы, когда постсоветская социальная практика продемонстрировала кризис «большой» официальной истории, незрелость и неоригинальность «контр-истории». Именно в начале 1990-х годов сильные позиции в экономике России и СНГ (а на этнической и географической периферии советской ойкумены – и в политической сфере) занимают маргиналы – нувориши, пришедшие «ниоткуда». Жизнь сообществ, породивших «новых» маргиналов, проходила вне компетенции советского обществознания по причине идеологических табу и методологического несовершенства. «Неожиданно» поднялись на вооруженную борьбу чеченцы, «вдруг» поехали «на историческую родину» евреи и немцы. И если идеологические табу рухнули в течение двух-трех лет, то методология, позволившая адекватно судить о социальных процессах советского и постсоветского общества – достижение последнего времени.

В современном урбанизированном и маргинализованном обществе важно распознать мельчайшие штрихи этнических отличий и продемонстрировать их по возможности ярко и отчетливо. Пренебрежение к «мелочам» повседневной жизни этноса – примета «колониальной этнографии» европейского, да и советского общества. Сегодня мы являемся свидетелями того, что вчерашние «перекитки» определяют мировоззрение сотен тысяч людей, а их носители, жившие за тысячи километров, теперь обитают в одном городе, на одной улице, в одном доме с нами. То, что вчера было экзотическим эпизодом, сегодня стало повседневной реальностью. Торжество над «поверженной» традиционной культурой оказалось преждевременным.

Помимо идеологических табу, этнологическое освещение темы этнических репрессий до последнего времени окружал и этический мораторий. Эту

ситуацию описывает В.А. Тишков, говоря о сциентистском описании чеченского конфликта. «Исследование насилия и людских страданий – есть вариант интеллектуального цинизма профессионалов, для которых конфликт – это всего лишь «тема» и источник карьерного вознаграждения» [Тишков, 2001, с.13]. Рассмотрение риторики страдающих людей есть, на мой взгляд, способ обойти «дилемму Тишкова», не стать на путь многих моих коллег по российско-немецкой проблематике, комментирующих механизм действия подразделений НКВД.

Горькая ирония российской истории – этнос, выполнявший функцию хозяйственной колонизации Великой степи, в середине XX века оказался на положении угнетаемого и эксплуатируемого империей в худших традициях колониальной практики. Как и все народы СССР, в 1930-х годах немецкое население Страны Советов переживает частичную деструкцию традиционного уклада жизни (коллективизацию и секуляризацию села). Депортация поволжских немцев в районы Сибири и Казахстана (один из мрачных рекордов НКВД – переселение за месяц 600 тысяч человек) и последующая мобилизация в трудармию взрослого населения привели этническую культуру на грань гибели. Пришедшие из трудармии люди начинали жизнь практически от нуля: без жилья, без имущества, без средств, нередко потеряв близких и желание трудиться. В 1956 г. поволжских немцев на родину «не пустили». Ограничения на проживание в Куйбышевской, Саратовской, Волгоградской областях РСФСР сохранялись для немцев вплоть до 1970-х годов.

Полноценные версии официальной истории советских немцев появляются лишь в начале 1990-х годов. Фонд контр-истории немцев СССР составили эмигрантские мемуары, издававшиеся в ФРГ, с конца 1980-х его пополняют публицистика, воспоминания, научно-популярная литература издающаяся немецкими авторами в России, Казахстане, Киргизии.

В Кулундинской степи представлены две этнографические группы российских немцев. *Sibiriendeutschen* – потомки добровольно прибывших по стольпинской аграрной реформе колонистов – новороссийских, центрально-украинских, волынских немцев; проживают компактными группами в небольших (80-100 дворов) деревнях. *Wolgadeutschen* – депортированные в 1941 г. с Поволжья и их потомки; проживают в крупных (150 и более дворов) селах, совместно с группами славянского населения.

Образ немца в плакатном искусстве, газетных текстах, литературе и кино военной и послевоенной поры был представлен в изобилии. Косвенные сведения о моделях славяно-германского взаимодействия содержались и в курсе школьной истории, в рассказах о «псах-рыцарях» и филиппиках в адрес немецко-фашистских захватчиков.

В целом, симпатии поволжских немцев (информанты-мужчины) по поводу кинообразов «наших» и «немцев» амбивалентны.

«И тех, и тех жалко было». «А мне неприятно, что немцев показывали всегда дураками. И если убивают кого в кадре, то это немец». «Рус-

ские ребята кричали: «Ура! Наши победили!» А мы молчком сидели, унижение чувствовали. Ничего себе – немца убили! Резануло – чуть не до слез. Как-то так странно было – и те наши, и эти наши. Все равно нравилось, и все равно в кино ходили».

Чувства сибирских немцев и части поволжских (женщины) немцев более определены:

«Для нас это всегда были фашисты, не немцы, даже нелюди!»

Значительная часть оставшихся в кулундинской деревне жителей не воспринимала газетный текст по причине неграмотности или малограмотности, была ориентирована в большей степени на образцы плакатного искусства, появлявшиеся в общественных местах и в самой газете. Однако плакаты, ориентированные на искушенных горожан, в среде кулундинских селян производили неожиданное воздействие. Женщины и подростки буквально воспринимали образы, изображенные на плакате. У приехавших немцев они искали портретного сходства с «плакатным» немцем, изображенным в рогатом шлеме. О подробностях униформы вермахта колхозники не ведали, рожкам на шлеме приписали естественное происхождение, немца отождествили с бесом, а беса – с Антихристом. День прибытия поволжских немцев в родное село многим кулундинцам представлялся днем «конца света».

«Местные все спрашивали сперва: где же у вас рога и хвосты?». «Как приехали сюда – сбежались, как на смотрины. Они думали, у меня двухметровые руки, ноги, рожки». «А местные у нас по приезду спрашивали: а почему у них рог нету?»

Немецкие крестьяне, впрочем, воспринимали плакаты сходным образом.

«С германскими немцами разговаривал только в трудармии, нас на работу вместе водили. А раньше – в журналах их рисовали, карикатуры были. Ну, мы думали, такие они и есть».

Информанты-немцы, впрочем, более склонны отмечать реакцию славянского окружения на негативный образ немца, создаваемый советской пропагандой военного времени. Каких-то попыток разъяснительной работы по размежеванию германских и советских немцев среди коренного населения мест этнической ссылки не велось. Напротив, местные партийно-хозяйственные функционеры зачастую использовали возможность «бить немца» в тылу. Исключение составляли председатели – бывшие фронтовики, имевшие адекватные представления о национальном характере германских немцев, «немцем битые и немца бившие».

Самым тяжелым образом негативная оценка германского влияния на ход

русской истории в школьной программе отразилась на учениках из немецких семей.

«Дразнили нас тогда. Один меня в школе дразнил, я завел его в умывальник, «помыл» ему лицо». «Бывало, дразнили. Это еще на кого нападут. Вон, Маня Урман, за «фашистку» взяла и отлупила». «Нас в те времена презирали... Гитлер-фашисты...» «Уши вянут, послушали...»

Информанты – немцы подчеркивают также такую деталь мировоззрения славянских соседей, как отсутствие «срока давности» и восприятие немцев не как этноса, а как «племени». В гибели родственника или увечьях, полученных на фронте, обвинялись все немцы вне зависимости от пола и возраста:

«Свекор все попрекал, что из-за меня свою ногу потерял».

Клеймо «фашист» преследовало информантов вплоть до 1960-х годов, когда с оскорбителей начали брать штраф.

Вплоть до 1970-х годов собственная история русских немцев была представлена лишь одним «потокком» – памятью поколений.

История поволжского немца обычно начинается со скорбной строки. Вопрос «Откуда Вы родом?» вызывает у людей, увезенных с Волги детьми, воспоминания о достойной жизни, об отлаженном быте, красочных пейзажах страны, которая в августе 1941 г. навсегда исчезла с географической карты.

«Большой был там дом: 5 комнат, два коридора, свой сад. Обернулись. Поглазели – и поехали... Отец до последней минуты надеялся, что домой вернемся». «Выселили! Собирай и мотай!». «Колхоз Ворошилов на Волге был. Вейде Иван Давыдович – председатель. Богатый был колхоз. По два плана хлебосдачи делали...»

Для женской истории сюжет депортации нередко выступает оформленной риторической фигурой. Так, в Баганском районе Новосибирской области координатор местного отделения Российско-Немецкого Дома познакомила меня с Маргаритой Андреевной Г., которая когда-то участвовала в школьной самодеятельности. Ее рассказ о депортации производил шокирующее впечатление не содержанием, но формой высказывания – это была посредственная театральная декламация. «А в этом месте я всегда плачу...» – говорила рассказчица, загодя доставая носовой платок. Тема ссылки до сих пор вызывает сильные негативные эмоции у информантов-немцев: у женщин – горечь, печаль, у мужчин – возмущение и гнев. Это горе, которое объединяет людей – тем более, что ссылки немцы и в ссылке оставались соседями, происходили из одной деревни.

Нынешние старики-немцы были выселены детьми, и день погрузки в эшелон стал для них последним днем детства. Его они помнят совершенно от-

четливо: как грузили на подводу сундук, что сказал отец перед отправкой, как стучали молотки красноармейцев, забивавших окна.

Первые впечатления о пребывании на новом месте связаны с утратой последних атрибутов счастливой жизни.

«Ничего здесь не давали. Все тряпки попродавали. Бедно жили. Все голодовали. Мерзлую картошку ели». «Богатство с собой везли – потом все поменяли». «Одежи совсем не стало – все с себя у русских на картошку поменяли».

Сибиряки показались приезжим «народом диким и неопрятным». Местные жители имели смутные представления о нижнем и постельном белье, не знали круглых пуговиц и пробивных петель, грубо кроили и шили одежду (преимущественно, из холста и овчины местного производства).

«Пошивки, такой как у нас – не было. Самотканое все, верх отбеливали. Внизу – мешковина. Виши на правой стороне, виши на левой стороне. Все подвязано. Шубы овчинные веревкой подпоясаны. Пуговицы были из палочек с веревочкой. Вышивка была только крестом, в основном, только для занавесок у икон. Которые побогаче жили, у тех и скатерти, и одежда с вышивкой были». «Они ходили в тканых зипунах, жилеты ткали и красили. Сеяли лен и ткали. Носки вязали без пяток – вон соседка моя до сих пор так и вяжет. Пояса у них были. Мы смеялись – длинный пояс такой висит...»

Вид «аборигена», обмотанного «веревочками» – «опоясками», вызывал у приезжих смех. Однако уже весной 1943 г. на продукты были обменяна (или истрепана на колхозных полях) последняя «мануфактура», привезенная с Волги. Подросткам, детям и старикам, оставшимся в кулундинских деревнях после мобилизации взрослых в трудовую армию, пришлось облачиться в холщовые брюки, ватники-«куфайки», обуться в сыромятные «поршни» и лапти «из талы», в буквальном смысле «влезть в шкуру» славянина-сибиряка.

«Я боялась лапти носить – след как от животного – охотник подстрелит». «Здесь ходили в домотканом: как мешки, в штанах таких. Полдня носил – ноги натер. Грубая ткань».

В ряде случаев у ссыльных не было и такой возможности одеться.

«В школу я не ходил. Мы совершенно голые были. Зимой на печи сидели. Тряпки вокруг бедер намотаны были – и все. Рядом было озеро. Мы с братом делали коньки из деревяшек – и чуть тепло – выскакивали кататься. Да, голые. Потом, все синие, заскакивали на теплую лежанку. Две зимы так было. Потом появились штаны общие, рубаха общая, одна куфайка на семью».

Воспоминания о военном детстве на чужой земле и трудармейские впечатления поколения 1920-х годов рождения представлены в виде рассказов о человеческом участии и сентенций в духе «Талант везде пробьется».

Так, история врача Винкеля известна по всему Купинскому району.

«Был случай...Лет семь-восемь мужик воду на поля возил. Схватил аппендицит тракториста. Сделал ему мужик прямо на поле операцию. Потом тракторист в больницу поехал. Там, в Купине, вопрос сразу: «Кто сделал?» Дошло до райкома: оказалось, мужик тот – хирург первой категории. Забрали его в больницу. Оказалось, мужик тот и газету с Волги сохранил – где пишут, как он работал. С четырех районов к нему на операцию приезжали. Лет 30 он в Купино работал».

«Как я там выжил? Мне ветврач помог. Дорогой познакомились. Когда в Новосибирске в телячий вагон сажали – последним хорошо одетого человека привезли: бурки, папаха, кожанка. Это был Горн, бывший главный ветврач района. Ему худое место досталось, всю одежду затоптали, по нужде рядом ходили. Я ему тогда помог. Другие над ним издевались, а я ему кипятка приносил. Потом он сразу попал на конный двор, а я в шахту. Он мне говорит: смотри, туго будет, я тебе, чем могу, помогу. Ему доплатоны давали. Подкармливал он меня».

«Первый год мы лужспайки (картофельные очистки с ростками – А.О.) у людей выпрашивали и сажали. После войны у нас и баранчик появился. Соседка нас жалела и говорила: «Роза, если Василь с фронта придет – отдам тебе эту ярочку. Он вернулся. Соседка позвала мать, и говорит мужу: «Василь, не сердчай на меня – так и так – все ему обсказала». «Ну, раз так – воля твоя. Выбери – веди домой. Так, от добрых людей, у нас пошли бараны».

«Культуртрегерство» немцев и рассказ о «потерянном поколении» – еще два взаимосвязанных сюжета в высказываниях на тему депортаций и ссылки. Отличительным признаком немца информанты считали «мастеровитость».

«Машинка у матери подольская была, ручная». «Одежду у нас учительница, Минна Александровна – кроила и шила... Я сама много-много вышивала». «Мать и сестра только этим и жили. Шерсть несли им и они все делали. Вышивали немки – и гладью и крестом. Ночами сидели, работали. При керосиновой лампе, а еще раньше при коптилке сидели».

Действительно, «высокомодернизированный» поволжско-немецкий этнос был «подселен» к сибирякам, вследствие коллективизации отброшенным на низший уровень модернизации. Однако немцы-информанты склонны конста-

тировать научение сибиряков «всему», любой работе – даже катанию валенок. Речь идет о передаче алгоритма деятельности, новых технологиях. Вместе с тем в рассказах часто отсутствует, либо прямо отрицается какое либо влияние славянского этнокультурного окружения, помимо языкового. Однако в другом сюжете, посвященном утрате культурных навыков, деградации поколения 1930-х годов в сравнении со «старыми» поволжскими немцами, упоминаются некоторые детали заимствований (оцениваются негативно), приобретенных в трудармии и на «разных» колхозных работах.

«Мы у пленных румын хлеб меняли. Махорки старались где-то взять. Опилки подмешивали и на хлеб меняли. Хлеб схватить – и бежать. Если что – к охраннику. Он ржет: «Гы.. Немчура, опять надули их!»

Это по сей день удивительный факт для русского человека: немцы *не умели воровать*. Так, население сибирско-немецкого села Луганск в 1943-44 годах вымирало от голода, не владея промысловыми технологиями, навыками кражи и утаивания колхозного добра. Некоторым ссыльным везло больше: в колхозе был «хороший» учетчик.

«Он матери присоветовал – делай как все бабы – в конце работы засыпать зерно в рукавицы!».

Пребывание немецких подростков в военные и послевоенные годы практически на попечении у славянских общин привело к воспроизводству утрированных, стереотипизированных черт этничности, зачастую прямо противопоставленных облику славянского окружения. «Русский пьет» – «Немцы не пьют»; «Русский ворует» – «Немцы не воруют»; «Русский лодырь» – «Немец работяга» и т.д.

Воспроизводство традиционного варианта поволжско-немецкой культуры, помимо этногеографических и «режимных» факторов, оказалось затруднено вследствие следующих причин.

1) Сравнительно низкий уровень грамотности поколения 1930-х годов рождения. 70% кулундинских информантов-немцев этой генерации не окончила семи классов, половина из них после депортации не продолжали обучение в школах по месту ссылки. 10% информантов никогда не посещали школу. Трансляция традиционных ценностей немецкой культуры подразумевала 3-4 класса школы для мужского и большей части женского населения.

2) Полная деструкция материального комплекса культуры и значительной части духовного достояния поволжских немцев.

3) Запрет на публичное употребление немецкого языка и низкий его статус.

«Начнешь по-своему с подругой говорить – сразу окрик: «Ну-ка! Разговаривай, чтоб мы понимали!». «Свой язык – скрывали. Потому и поза-

были... Честно скажу, и учить я его не хотел. Мы его презирали, немецкий язык...»

4) Запрет на обсуждение темы репрессий: изначально как занятие противозаконное и опасное, создание общего достояния – памяти поколений, позднее было затруднено как психотравмирующая процедура. Кроме того, историософия поволжских немцев оставила неразрешенной моральную дилемму: как совместить традиционно лояльное отношение к государству и правопорядку с памятью о погибших и искалеченных близких – жертвах сталинской законности?

5) Надежда на возвращение в Поволжье – ностальгия, которая убивала представителей старшего поколения ссыльных немцев, а более молодых лишала стимула для воссоздания немецкой культуры здесь и сейчас. Рациональный немецкий ум осознавал невозможность этой задачи; деятельная натура «вечного колонизатора» не могла с этим смириться. (Чеченцы, которым власть «дозволила» вернуться на Родину, прибыли в измененный хозяйственный и этнокультурный ландшафт. Кроме того, они сами стали другими, прошедшими ссылку, голод, оскорбления людьми. [Тишков, 2001, с.97-103]).

В итоге культурный комплекс поволжских немцев оказался ориентированным на воспроизводство «разрешенного» славянскими соседями продукта. По сути дела, поволжско-немецкая культура была реализована в пространстве Кулундинской степи в выраженной демонстративной форме, где преобладали материальные средства манифестирования этнических ценностей. Основу этой демонстрации составили внедрение технологий высокой модернизации в сельскохозяйственное производство и создание специфического комплекса сельской усадьбы – памятника индустриализации на селе. (Характерная деталь: сибирские немцы позволяют зарастать двору травой, снег не выбрасывают («Бог положил – Бог уберет»). Поволжские немцы территорию двора бетонируют, либо посыпают гравием.) Иных способов сказать «Я есть!» у поволжского немца не было.

Длительное время риторика депортации и ссылки существовала лишь в виде текстов для семейного употребления. Оформление семейных преданий в локальную историю оказалось возможным лишь благодаря деятельности немецких религиозных общин. Однако религия так и не разрешила указанные дилеммы, более того, в текстах проповедей обсуждались повседневные проблемы верующих. Проповедник ограничивался констатацией общности исторической судьбы. Религиозные общины предоставляли утешение, снятие, но не решение проблемы. Протестантские религиозные ценности утрачивались поколением 1950-х годов рождения. Молитвенник – «Санктбух» – бережно хранимый во многих немецких семьях, ныне просто стал «святой вещью», раритетом, реликвией.

Огромные затраты времени и усилий на поддержание «немецкого дома» и «немецкого стиля» в работе, отсутствие поддержки со стороны системы образования, невостребованность немецкого языка в социальной практике, воз-

росшее качество адаптации новых поколений немцев к проживанию в славянской среде, кампания по ликвидации неперспективных сел и деревень, – эти и ряд других факторов привели к утрате актуальности традиционных ценностей для представителей новых поколений поволжских немцев. Отсутствие гласности, конспиративный характер функционирования текстов новейшей этнической истории, фрагментарная, ситуативная трансляция материала потомкам усилил тенденции маргинализации в среде поволжских немцев. Утверждение этнокультурного «Я» для нового поколения поволжско-немецкого этноса уже не было первоочередной задачей.

Литература

Тишков В.А. Общество в вооруженном конфликте. Этнография чеченской войны. М., 2001.

Информанты

Кольмай Иван Иванович и Эмма Александровна (1937 г.р.), Котлярова Гермина Соломоновна (1928 г.р.), Эльшайдт Отто Соломонович (1922 г.р.) и Фрида Ивановна (1926 г.р.), Круне Виктор Иванович (1937 г.р.) и Нина Федоровна (1938 г.р.), проживают в селе Новониколаевка Купинского района.

Гаус Маргарита Андреевна, 1925 г.р., проживает в с. Караси, Баганского района.

Куропова Вера Захаровна, 1927 г.р., Долгаймер Владимир Иванович, 1959 г.р., проживают в с. Новороссийское Здвинского района.

Гербзумер Виктор Михайлович, 1933 г.р., проживает в г. Карасук.